

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



О ДУХЕ ВРЕМЕНИ И ЧУВСТВЕ ЮМОРА

Кто бывал в Вене, знает барочное здание в восточном уголке старого города, в старом университетском районе, наискосок от иезуитской церкви. Внутри — фрески XVIII века: аллегорические фигуры Наук и Добродетелей в облаках и лучах, мягкая такая фактура. Когда-то там была резиденция Университета, при Франце-Йозефе переехавшего на Ринг; сейчас там обретается австрийская Академия наук, устроившая в начале 1995 года трехдневные публичные чтения, из коих первый день был посвящен темам философским (в довольно расширительном смысле слова); второй — темам теологическим; третий — политическим. Должен сознаться, что для меня лично наиболее удавшимся показался средний, теологический день (в основном за счет прекрасного доклада И. Б. Метца); но сам я был приглашен говорить в первый день. У меня были две причины принять приглашение. Во-первых, оно исходило от человека, своей редкостной добротой и теплой отзывчивостью заслужившего глубокое уважение: его звали Вольфганг Краус, он был автором ряда книг эссеистической прозы и возглавлял венскую писательскую организацию; за минувшее с тех пор время он, увы, оставил этот мир. Во-вторых, меня привлекала мысль говорить в барочном зале...

Когда кончилась моя речь, когда кончилась даже последовавшая за ней краткая дискуссия, в зал вошла профессиональная феминистка¹. Пройдя к микрофону, она заявила: “Я не была на докладе, он меня не интересует. Для меня важно только одно: в президиуме мужчин на одного больше, чем женщин”. Не в микрофон, не на весь зал, но довольно громко я заметил: “О более подходящей иллюстрации к моему выступлению я не мог бы мечтать!” Те, кто сидели в ближних рядах, расслышали — и лица были позабавленные.

Речь опубликована в журнале: “Conturen. Das Magazin zur Zeit”, 1997, № 1, S. 56 — 60. Читателям “Нового мира” я решаюсь предложить авторский перевод, который я старался сделать настолько точным, насколько это было возможно, за вычетом мелочей: скажем, строку из Катуллы я предлагал по-немецки в несколько вольном, но чудесном переводе старого

Эдуарда Мёрике — по-русски это не имело бы никакого смысла; подобным же образом снято несколько полуцитат из немецких классиков. Но я прошу читателя все время помнить, что целый ряд мелочей, в переводе сохранных, рассчитан именно на венскую публику .

Как знает всякий, ни магнита, ни источника тока не бывает и не может быть без противоположности взаимосоотнесенных полюсов. Положительный полюс мгновенно перестает существовать, если отнять полюс отрицательный, и наоборот. Только из противоположности, из полярности, из напряжения возникает игра энергий. Этому когда-то учили нас Гераклит и Лао-цзы. Об этом говорят такие формулы мудрости, как $po\text{le}moV\text{ rat a hr}$ $p\ \ddot{u}\ agtwg^2$ и инь и ян.

Я отнюдь не намерен предлагать новую — сотую или тысячную? — дефиницию юмора. Моя аргументация вращается не вокруг определения этого феномена, столь важного для природы человека как *животного смеющегося*, *animal ridens*, — но вокруг его предпосылки. Эта предпосылка точно так же необходима, как в случаях магнита и тока. Нет и не может быть юмора без противоположности взаимосоотнесенных полюсов, без контраста между консервативными ценностями — и мятежом, между правилом — и исключением, между нормой — и прагматикой, между стабильными табу унаследованной этики — и правами конкретного, единокатного, действительного; и притом необходимо, чтобы эта противоположность воспринималась достаточно остро, чтобы она вправду доводила до слез — но и до смеха, иначе — какой уж юмор? А это значит, что человек способен к юмору в том случае и в той мере, в которой он остается способным к соблюдению заветов и запретов.

Неспроста к лучшим проявлениям человеческого юмора принадлежат **клерикальные анекдоты**. Ведь и Франсуа Рабле был персона духовного чина. Ощущая себя в самой непосредственной близости наиконсервативнейших табу, часто погружаясь в волны густого запаха святости, человек нередко получает особенно благоприятное расположение к юмору. И далеко не случайно обнаруживается, что качество клерикальных анекдотов состоит в прямой зависимости от реальной заинтересованности той или иной нации или группы в религиозных материях. В мире католическом особенно хороши клерикальные байки, скажем, у ирландцев, у поляков... (Вот ирландка спускается по ступеням церкви после исповеди и причастия, а на нее накидывается с бранью ее местная врагиня. Она отвечает: “Как нехорошо с твоей стороны нападать на меня сейчас, когда я в состоянии благодати. Но смотри, долго я в этом состоянии не пробуду!” Как важен для самой субстанции этого анекдота католический термин “состояние благодати”!)

Адогматическое христианство способно, пожалуй, на подлинную нравственную высоту. На что оно **не** способно, и притом по самой своей сути, так это на чувство юмора. Чтобы отыскать смех, парадокс, дерзновенную, вибрирующую на границе кощунства игру мыслей, придется направиться к какому-нибудь старомодному защитнику догмы: скажем, к проповедникам эпохи барокко вроде Абрахама а Санкта Клара или хотя бы поближе — к Леону Блуа, к Честертону. Самые отчаянные шутки во всей истории русской культуры обретаются у Владимира Соловьева — мистика

из мистиков, визионера, аскета. Он был вправду способен заразительно, захватывающе смеяться именно потому, что был способен и к абсолютной серьезности. Чтобы дерзновение оставалось вправду дерзновением, а не симуляцией дерзновения, юмор должен постоянно ощущать себя в присутствии столь же подлинной, жесткой, непоблажливой серьезности.

Так обстоит дело с остроумием клерикальным и околоклерикальным. Дальше помянем хотя бы **еврейский юмор**. Разве этот отменный феномен мог существовать как целое без сакральной идеи народа Божия? Вот цитата из “Доктора Фаустуса”: “Я, как вы знаете, еврей. Фительберг — архиеврейская фамилия. У меня в крови Ветхий Завет — не менее серьезная штука, чем немецкая сущность”, — так говорит этот персонаж Томаса Манна, только вот вместо “немецкой сущности” хочется в нашем контексте подставить что-нибудь вроде “клерикальной сущности”. Что же, в библейской перспективе евреи как раз и суть народ священствующий; поэтому представляется не вовсе бессмысленным объединить в нашей классификации еврейский юмор с юмором клерикальным. Особенно остры шуточки, относящиеся к тяжбе между еврейством и христианством, скажем, когда еврей дразнит католического священника, приставая к нему с вопросом, правда ли, что тот ну никак не может подняться выше папского сана — а *один из наших*, знаете ли, уже Бог, вот оно что!

Суть всякого действительно острого **политического юмора** всегда прямо или косвенно соотнесена с противоположностью между конформизмом и протестом. Чтобы обосновать достаточно качественный юмор, эта противоположность должна быть достаточно убедительной, подлинной и серьезной. В любом тоталитарном обществе ее серьезность была в самом буквальном смысле смертельной серьезностью. В моей России, как и на всем пространстве государств-сателлитов, неуютное время сталинского и затем брежневского строя провоцировало удивительный подъем культуры политического анекдота. О, каким великим становится это искусство, когда оно дает индивиду последний шанс не погибнуть от удушья! Конечно, приходится пожелать, чтобы в нашей жизни больше не было таких факторов расцвета юмора. Но сегодняшняя ситуация как раз в демократических и “развитых” странах делает исходное распределение ролей между “филистером” и “бунтарем” весьма сомнительным, а то и вовсе мнимым. Новая ситуация пророчески предугадана в одном стихотворении русского поэта Вячеслава Иванова из 1944 года:

...Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братьий;
Обличья заменил ярлык.

Бьют тем же шаром те же кегли

Бунтарь, епископ и король...

Нигилист — нынче уж не бунтарь, едва ли даже циник в настоящем смысле слова, потому что он больше не стоит “против всех”. Важнейшие приметы бунтарства, например, компоненты идеологии студенческих мятежей в Сорбонне 1968 года, сегодня превратились в господствующий trend, в условие political correctness. Отмена всех обязывающих табу, особенно в сексуальной сфере; вульгарный феминизм, de facto стремящийся отменить

как раз творческое в женщине и разрушающий традиционное уважение к материнству; демонтаж всех культурных иерархий и знаменитый антиэлитистский принцип “ты не лучше меня”; принципиальное превосходство самодовольного невежества над “Пайдейя”, — все это уже принадлежит, говоря по-флоберовски, сфере *id ees re z ues*, “*прописных истин*”, аксиом, принимаемых автоматически и без всякой критики. Уж если что-нибудь и сегодня, посреди всеобщей отмены табу, вправду остается табуированным, так именно решимость поставить под вопрос какую-нибудь из этих аксиом. Разумеется, защитники вышеописанной идеологии нередко и сегодня по старой привычке принимают патетические позы, пытаются уверить, будто они всё еще обречены на скорбную участь бунтарей. Но в этом слезливом тоне выражает себя не серьезность господствующего *тренда*, а всего лишь присущее ему отсутствие юмора. Наш опыт советских лет, опыт реального риска, реальной опасности каждого решения быть не таким, как все, возбуждает нас играть в эту игру и пренебрегать различием между настоящей и деланной серьезностью.

Что касается шуток **эротических**, этого древнейшего и наиболее общечеловеческого рода юмора, старого, как само человечество, то они, эти шутки, обусловлены тем, что пол всегда был привилегированным объектом структурирующих табу. Русский священник и философ XX столетия о. Флоренский держался мнения, что строгость и многообразие запретов указывает никоим образом не на низшую, религиозно неполноценную природу пола, но, напротив, на его сакральное достоинство; ведь всему культовому приличествует быть огражденным строгими табу. Нынче провозглашают отмену всех табу. Для культуры эротического юмора это катастрофа. Может быть, сегодняшняя сексуальная революция и “сексуальное просвещение” сделают невозможной на будущее высокую поэзию целомудрия, — кто знает, кто знает, я лично не совсем в этом уверен, ибо всякая подлинная поэзия, как всякая подлинная христианская святость, есть по своей сути протест против духа времени, усилие освободиться от его власти, и осуществляет себя *e contrario*; но сейчас у меня иная тема. Я хотел бы подчеркнуть другое: что-нибудь вроде “Декамерона” или “Гаргантюа”, то есть шедевры бесцеремонной сексуальной шутки, в новом контексте, обусловленном сексуальной революцией, уж точно станут навсегда немислимыми и неповторимыми. Всякий юмор в этой области утрачивает основу и предмет. *Lugete o Veneres Cupidinesque!* “Плачьте вы, Купидоны и Венеры!” — как было сказано у великого Катулла.

Древняя традиция гениальной эротики пришла к концу. Сексуальная революция разоблачает себя как то, что она есть: как революция *против* прав Эроса. Мнимая вседозволенность — “запрещать запрещено!”, как писали на стенах в Сорбонне 1968 года, — предполагает, однако, один скрытый запрет, и притом весьма важный: Эросу воспрещается что-то значить, иметь смысл. Но в абсолютной зависимости от смысла Эроса находится самая возможность относящегося к Эросу смеха.

Что уж там христианская или хотя бы языческая добродетель, если любая пристойность в грехе, *every decent sin*, как сказано у Честертона, в этой атмосфере становится немислимой.

Подведем итоги: если диалектическую предпосылку юмора и комического составляет неуступчивая, неподатливая серьезность, то, напротив, столь

типичная для нынешнего времени вездесущая, монотонная, всеми принятая и никого больше не шокирующая, даже и не привлекающая к себе ничего внимания фривольность, в сфере которой уже ничто не бело и не черно, а только серо, означает конец юмора. Человеку дан роковой выбор между отсутствием юмора — и серьезностью; третьего не дано. Разумеется, серьезное отношение к идеалам и ценностям в любое время способно породить проблемы, имеющее более или менее “травматическое” действие. Наши современники чересчур согласны рассматривать проблемы, что называется, экзистенциальные, проблемы души, как проблемы психики, соответственно улаживаемые методами психоанализа и психотерапии. Мое почтение великому венцу Зигмунду Фрейду — но, Бога ради, не будем давать его неисчислимым последователям последнего слова в экзистенциальных вопросах! Как сформулировал когда-то Райнер Мария Рильке свои резоны против того, чтобы даваться в руки психоаналитикам: *изгоняя моих бесов, они разгонят заодно моих ангелов*. Ах, в числе этих ангелов, чье присутствие с нами нынче под угрозой, оказался и достославный ангел юмора; это мы знаем по опыту. Чересчур удобная и беспроблемная, одним словом — чересчур обезболенная жизнь становится лишена значительности, и вот уже жить не стоит — по-гречески, на языке Аристотеля: *Βίον ή βίωτον*.

Аверинцев Сергей Сергеевич (род. в 1937 году в Москве) — филолог, историк культуры, литературный переводчик, поэт; профессор МГУ и Венского университета. Постоянный автор “Нового мира”, где одна из последних публикаций — “Гёте и Пушкин” (1999, № 6; см. там же более подробную биографическую справку).

¹ Просьба не понимать этого выражения метафорически: в Австрии они часто состоят на окладе (как “освобожденные” партработники во время оно у нас).

² Борьба — отец всего (*греч .*).